**А моя мама — ведьма!**

Уильям Тенн

Все безмятежное детство свое провел я целиком и полностью убежденный, что моя мать — самая настоящая колдунья. Это отнюдь не ущемляло, не ранило неокрепшего детского самосознания — более того, придавало на первых порах уверенности, порождало чувство полной своей защищенности.

Самые первые воспоминания мои связаны с трущобами бруклинского Браунсвилля, известного еще под названием нью-йоркского Ист-Энда, где мы жили в сплошном окружении одних только ведьм. Встречались они здесь на каждом шагу, роились на лавочках у любого парадного, сопровождая шумные наши детские забавы угрюмым бурчанием и мутными взглядами исподлобья. Когда кто-нибудь из нас, мальчишек, в пылу игры подлетал вплотную к крылечку, оккупированному шипящими ведьмами, воздух вокруг бедолаги сгущался мороком и от черной магии аж потрескивал — результат витиеватых проклятий жутких старух.

«Чтоб ты больше не вырос и навеки остался карлой! — так звучало одно из самых распространенных и невинных заклинаний, чуть ли не приветственное. — А если даже и подрастешь, чтоб вечно торчал редиской из грядки — скрюченными ножками кверху!»

«Чтоб ты с головы до ног покрылся струпьями от чесотки, — гласило следующее, уже несколько менее безобидное. — Но сперва ногти твои пусть отсохнут да отвалятся, чтобы даже почесаться как следует было нечем!»

Подобные миленькие пожелания никак не могли адресоваться лично мне — слишком хорошо известны были округе устрашающие способности моей матери. Да и сам я к тому времени был уже кое-чему обучен — наипростейшим детским пассам — и незатейливые уличные проклятия отводил вполне умело. К тому же, укладывая меня в постель, мать на всякий случай подстраховывалась — неизменно сплевывала трижды через левое плечо, дабы обуздать и обратить вспять темные силы, накликанные за день недоброжелателями, обрушить бумерангом на их же поганые головы, да еще с утроенной количеством плевков силой.

И вообще, иметь в семье собственную ведьму считалось во времена моего детства дополнительным бытовым удобством, своего рода даром судьбы. Мать же моя была не просто колдуньей — аидише (то бишь, еврейской) ведьмой, и чары свои уснащала невероятным компотом из немецкого, идиша и словечек из никому неведомых славянских говоров. Но это отнюдь ее не смущало — отпрыск семейства лондонских евреев, она к моменту встречи с моим будущим отцом владела едва ли десятком-другим выражений на идише. Отца моего, отставного ешиботника [\*Студент ешивы — религиозного учебного заведения] из Литвы и пламенного социалиста по убеждениям, матушка заарканила в лондонском Ист-Энде на полпути в Америку. Молодая мигом воспользовалась новыми для себя обстоятельствами, чтобы начисто стереть из памяти свой бесполезный кокни — к чему он ей, спрашивается, в Новом Свете?

Пока отец обучал мать беглой речи на идише и ставил произношение, он мало чем мог помочь как ей, так и своему первенцу в противостоянии суеверному окружению бруклинских трущоб. Убежденный утопист, он лелеял свои научно обоснованные грезы о грядущем мироустройстве и приходил в совершенный ужас от повседневной материнской волшбы. Как человек эрудированный, отец знал уйму цветистых идиом, изящных оборотов речи, по любому поводу и без оного часами мог декламировать поэзию Бялика, цитировать других титанов еврейской мысли — от Иешуа до Маркса, — но в мире чар и заклинаний был беспомощен, аки дитя малое и неразумное.

А мать моя отчаянно нуждалась именно в магической поддержке. Наше возлюбленное чадо, наш бесценный малыш, твердила она постоянно и неизменно, самая вожделенная цель и такая удобная мишень для всех этих злопыхателей и завистников, живущих по соседству, и к их услугам здесь целые полки оккультных книг, целые библиотеки заговоров и заклинаний. Мама же не знала ни единого; ее высокий ранг среди ведьм нашего квартала зиждился исключительно на таланте вызывать духов и искусно отводить их в сторону, совершенно нейтрализуя при этом. Но ей катастрофически недоставало традиционных заклинаний — тех, что копятся в семье из поколения в поколение и, постоянно обогащаясь, передаются от матери к дочке. Похоже, она единственная сподобилась добраться до Соединенных Штатов без багажа подобной местечковой премудрости, закутанной в наследственные перины да зашитой в маменькины пуховые подушки. Единственным оружием моей матери поначалу оказались неистощимое воображение и фантастическая изобретательность.

К общему нашему счастью, они никогда не изменяли ей — с тех самых пор, как мать впервые вкусила сполна прелестей бруклинской жизни. К тому же все новое мама схватывала на лету — стоило ей лишь раз увидеть или услышать оккультную новинку, как она тут же включалась в оборонительный арсенал.

«Мах афайг!» [\*Сделай фигу! (идиш)] — успевала незаметно шепнуть мне мама в бакалейной лавке под восторженное кудахтанье хозяйки заведения о моем цветущем и воистину ангельском облике. И неокрепшие детские пальчики тут же сами собою складывались в небезызвестную фигуру — древний знак против женского сглаза. Фига вообще оставалась последним резервом моей мальчишеской обороны, особенно когда я оказывался один на один со злокозненным окружением Браунсвилля; я мог ответить фигой, точно прививкой от бешенства, на любую недоброжелательную реплику и как ни в чем не бывало продолжать свои безмятежные детские игры. Если же, выполняя поручение, приходилось пробегать мимо череды мрачных старушечьих кагалов на крылечках многоквартирных домов, я всю дорогу тыкал фигами направо и налево, рассыпая их без всякого сожаления и ущерба и не ощущая благодаря этому никакой боязни.

И все же таланту моей матери в начертании пентаграмм и прочей ворожбе ни за что бы не развернуться во всю его ширь и мощь, не доведись ей однажды схлестнуться лоб в лоб с самой миссис Мокких. Уже одно зловещее имечко старой карга — «мокких» в переводе с идиша означало мор и глад и прочие напасти — грозило несусветными бедствиями и остужало самые горячие головы.

Почтенная дама с первой же встречи произвела на меня столь неизгладимое впечатление, что я, читая самые страшные волшебные сказки, неизменно представлял себе именно ее. В сопровождении четырех дочерей-коротышек — все в мамашу, одна другой страхолюдней — приземистая старуха по мостовой не шагала, а печатала шаг, как бы утверждая свое безусловное, нераздельное и вечное право на отвоеванную у незримого противника территорию и оставляя за собой почти осязаемое опустошение. Волосатая бородавка над правой ее ноздрей была так велика, что за спиной, и только за спиной — не дай Бог, услышит! — люди перешептывались, нервически хихикая: «У носа миссис Мокких вырос свой собственный носик!»

На этом шутки обычно и заканчивались — добавить что-либо еще смельчаков не находилось. Старуха Мокких могла только покоситься на такого героя, прищурив сперва один глаз, затем другой, а непрерывное подрагивание при этом бородавки свидетельствовало о напряженном поиске в мрачных потемках души проклятия, наиболее уместного и действенного для данного случая, и если жертва оказывалась натурой впечатлительной, то очертя голову пускалась наутек, не дожидаясь произнесения роковых слов, способных омрачить самое безоблачное будущее. Старуху Мокких в квартале боялись по-настоящему, и не одни только малые дети — под ее горящим взором отводили глаза даже самые смелые и искусные в своем ремесле ведуньи.

Миссис Мокких была в некотором роде ведьмой-старостой нашего квартала. Заговоры и заклинания, которыми она оперировала с необычайной легкостью, восходили к седой дохристианской древности, ко временам процветания вавилонского гетто и эпохе Второго Храма, а использовала она их творчески — в обновленных и оттого еще более устрашающих формах.

Когда нам пришлось перебраться в квартиру прямо над ней, мама поначалу всячески пыталась избегать прямых столкновений. Никаких ударов мячом об пол в кухне, никакого хлопанья дверьми. Боже упаси прыгать и бегать по квартире! Даже по лестнице, и то приходилось взбираться почти что украдкой. Мать же моя тем временем вполне успешно осваивалась в новом для себя ремесле, набирала силу, смелея с каждым днем, прямо на глазах. Но лишь до определенных пределов, на уровне заурядного-уличного ведьмовства. Беспокоить соседку снизу она опасалась по-прежнему. Стоило кому-нибудь случайно обронить на пол вилку, как мама тревожно покусывала губы: «Не приведи Господь, еще эта чума внизу услышит!»

Но вот настал наконец тот знаменательный день, когда мы вдвоем с мамой собрались чуть ли не в полярную экспедицию — предстояло навестить родню в самом отдаленном уголке Бронкса. После тщательного мытья, при котором вместе с грязью с меня едва не содрали всю кожу, я был торжественно облачен в недавно приобретенный с пасхальной скидкой голубой саржевый костюмчик, весьма и весьма нарядный. Гардероб мой дополняли ослепительно сияющие кожаные башмаки и безукоризненно накрахмаленный тугой воротничок. Завершающий штрих — полыхающий на груди алый галстучек. Такой цвет мама выбрала для меня отнюдь не случайно — каждый несмышленыш в нашем квартале знал, что именно ярко-красный непереносим для ока Сатаны, обжигает гаду сетчатку.

Едва только мы с мамой ступили на крыльцо, как к подъезду подгребла старуха Мокких со своей старшей дочкой Пирл, настоящей страшилой из сказки, обе нагруженные тяжелыми магазинными авоськами. Мы прошмыгнули мимо них без разговоров, но задержались возле стайки маминых приятельниц на тротуаре. Пока мать справлялась о переменах в расписании движения пригородных поездов, я точно заправский щенок успел вынюхать содержимое продуктовых пакетов — в нос шибануло луком, чесноком, прочей суповой зеленью и, кажется, еще курятиной.

Случайно брошенные взгляды ничуть меня не задевали — лишь более пристальное внимание к вертящемуся под ногами дитяти могло привести к немедленному и убийственному возмездию. Вообще, уличное разглядывание считалось сродни лести — если только не слишком привлекало к избранному для подобных экспериментов субъекту внимание ангела смерти.

Я заскучал; зевнув во весь рот, до хруста за ушами, подергал маму за рукав. Обернувшись затем, поймал изучающе прищуренный взгляд ведьмы-старосты, устремленный с самой верхней ступеньки парадного. Старуха Мокких скалилась щербатой и оттого ужасающе нежной улыбкой.

— Что за чудный малыш, глянь-ка, Пирли! — загнусавила она, обращаясь к дочери. — Такой весь сладенький, цимес [\*Сладкое блюдо еврейской кухни], а не ребенок! А уж какой принаряженный!

Мама определенно это услыхала — покрепче сжав мою ладошку, она вся подобралась. Но оборачиваться, чтобы нанести ответный удар, не спешила — к очевидному разочарованию приятельниц, оцепеневших в сладостном предвкушении свары. Задираться со старухой Мокких без крайней нужды вряд ли стоило. И теперь вся компания в томительной тревоге ожидала, закончится ли еще ее комплимент установленной для мирных сношений формулой: «а лебн ойф эм» — чтоб он так жил!

Видно, мне первому стало ясно, что нет, не закончится. Или же просто самому захотелось блеснуть перед публикой. И я поспешил продемонстрировать всем, с каким образованным ребенком имеют они дело — пальчики свободной ладошки сами собой сложились в известный отводящий порчу знак, который я ничтоже сумняшеся и адресовал своей словоохотливой поклоннице.

Несколько долгих мгновений старуха Мокких сузившимися глазками молча обозревала выставленную фигу.

— Чтоб эта шкодливая ручонка отсохла напрочь, — продолжила она тем же скрипучим елейным голоском. — Чтоб один за другим сгнили все гадкие пальчики и отсохла ладошка. Когда же поганая ладошка отвалится, пусть гниение да не остановится. Пусть перейдет сперва на локоток, затем дойдет до плечика. Чтоб вся ручонка, которой ты показал мне фигу, отвалилась и лежала под ногами, разлагаясь и смердя, и чтоб на весь остаток своей безрадостной жизни ты запомнил, каково это — показывать фиги мне!

Мы с матерью внезапно остались в абсолютном одиночестве — приятельниц как ветром сдуло с тротуара. Не то чтобы они улизнули совсем, но отступили под старухины причитания на почтительное расстояние и ахали теперь в отдалении.

Но мать — мать медленно повернула побелевшее лицо к разбушевавшейся Мокких и — в последней надежде уйти с миром — попыталась погасить пламя разгорающегося сражения.

— Постыдилась бы, старая! — воскликнула она. — Ребенку нет еще и пяти. Немедленно забери свои слова обратно!

Ведьма цинично сплюнула на ступеньку:

— Чтоб мое проклятие стало вдесятеро сильнее! В десять и в двадцать и в сто раз сильнее! Чтоб он иссох, чтоб он заживо сгнил! Ручки, ножки, легкие, животик... Чтоб харкал одной лишь желчью и кровью, чтоб рвало его непрерывно и ни один в мире доктор был не в силах помочь...

Это было уже безоговорочное начало боевых действий, и отступать моя мама не собиралась — на войне как на войне. Она потупила взор, погрузилась на мгновение в себя, оценивая собственный скудный арсенал — для подобного противника требовалось подыскать что-то совсем уж особенное!

Когда мама снова подняла глаза, отшатнувшиеся было болельщицы стали подтягиваться в ожидании неслыханного и невиданного зрелища. Своим живым и ясным умом, приветливостью и острым язычком мать давно снискала расположение обитателей квартала, ее любили, большинство свидетелей схватки болело именно за нее, но разница в весовых категориях была чудовищной и отнюдь не в нашу пользу. Миссис Мокких слыла профи, прошедшей полный курс магических наук под руководством самых известных чемпионов Старого Света. И если бы кто-то из зрителей решился вдруг затеять тотализатор, то ставки установились бы где-то на уровне пяти к трем против матери и максимум на два раунда.

— Твоя дочь Пирли... — начала она наконец.

— Ой нет, мамочки, только не я! — взвизгнула помянутая девица, перейдя неожиданно для себя из категории болельщиков в субъект сражения.

— Ша, Пирли! Не дергайся! — немедленно скомандовала мамаша Мокких.

Лишь зеленые новички могли ожидать от моей матери примитивной лобовой атаки. Задетая за самое свое уязвимое место — то есть за меня! — мама должна была отвечать теперь с подчеркнутой любезностью. Пирл распустила нюни, захныкала, затопала кривыми ножками, но старшим уже было не до нее — их внимание намертво приковали к себе высокие профессиональные фортели.

— Обожаемой твоей Пирли, — нараспев повторила мама, — стукнуло недавно четырнадцать — пусть себе живет до ста четырнадцати! Пусть уже к девятнадцати найдет себе жениха — замечательного жениха, просто бриллиант, а не жениха! Доктора, адвоката или преуспевающего дантиста, который будет носить ее на руках и целовать ей ноги. Пусть он исполнит все ее самые сокровенные мечты!

Публика тотчас же оживилась — все разом признали разновидность избранного моей мамой оружия. Она импровизировала в самом трудном жанре еврейского мистического репертуара — возведении ажурной конструкции наподобие карточного домика, дабы обрушить ее затем, точно дуновением — одним заключительным словом. Пример обычного продолжения такого пространного заклинания: «Пусть у тебя будет счет в каждом банке и по десять тысяч на каждой чековой книжке, и пусть каждое пенни твоих доходов уйдет на эскулапов, и чтоб ни один из них не смог даже диагноз тебе поставить». Или же: «Чтоб была у тебя сотня особняков и в каждом по сотне шикарно обставленных спален, и чтоб ты всю свою жизнь прослонялся от кровати к кровати, не в силах сомкнуть веки ни на миг единый».

Осторожно достичь самого пика и обрушить лавину — вот что такое пространное еврейское заклинание. Оно требует как виртуозного владения идишем, так и безукоризненно точной раскладки по времени.

А мать моя между тем продолжала:

— Чтоб ты отгрохала своей обожаемой Пирли с этим замечательным женихом такую свадьбу, о которой весь Бруклин будет гудеть и вспоминать долгие годы. — Головка Пирл вдруг с тихим писком втянулась в сутулые плечи, почти утонув в воротнике. Ее мать хрюкнула, точно боксер, прозевавший свинг и приплясывающий теперь после нокдауна в дальнем углу ринга. — Пусть об этой потрясающей, грандиозной, сказочной свадьбе напишут в каждой нью-йоркской газете, да что там в газете — о ней сочинят роман и снимут фильму, и пусть это доставит тебе несказанное удовольствие и принесет неслыханную славу. И пусть ровно год спустя твоя Пирли и ее замечательный, ее богатенький, ее деликатнейший супруг осчастливят тебя первенцем. И мазл тов [\*Пожелание счастья (идиш)], пусть твой первый внучонок всенепременно будет мальчиком.

Старуха Мокких, ошеломленно тряхнув жидкими седыми космами, спустилась на одну ступеньку; бородавка на ее носу зашевелилась, точно комариное жало.

— И этот малютка, — мать на секунду прервала декламацию, чтобы чмокнуть кончики пальцев, — что за славный это будет малыш! Славный? Нет! Восхитительный, потрясающий, чудо, какого свет отродясь не видывал! Величайшие раввины съедутся со всех концов планеты, чтобы только поприсутствовать на его обрезании на восьмой день от рождения, и будут хвастать этим потом до конца дней своих. Пусть подрастает он таким умницей и красавчиком, что все наперебой станут зазывать его читать Тору на собственные брисы [\*Брис (идиш) — союз, завет; название обряда обрезания]. А в один прекрасный день этот твой расчудесный внук, когда ты будешь со всех сторон упиваться счастьем, пусть он внезапно, прямо посреди ночи...

— Уймись! — заорала миссис Мокких, воздев руки жестом капитуляции. — Остановись же! Замолчи!

Мама перевела дыхание:

— Почему это я должна замолчать?

— Потому что я все забираю обратно! Все, что я пожелала мальчонке, пусть вернется и обрушится на мою же старую дурную голову, — все, что только я ему ни пожелала. Ты этим довольна?

— Довольна, — сухо бросила мама, схватила меня за руку и поволокла вперед по улице. Выступала она теперь величаво, не как новобранец среди седых ветеранов — как всеми признанная и официально аккредитованная чародейка из Старого Света.